

Университет называется

Михаил Маяцкий

А может быть, реки просто не было?
Может быть. Но как же она называлась?
Река называлась.

Саша Соколов. Школа для дураков



НИВЕРСИТЕТ всегда трансцендировал усредненно-общественное. Конечно, это не исключительная привилегия университета. По-своему это делает и школа (но в меньшей степени, недаром школьное образование по-русски называется *средним*), и политика, и искусство, и литература, и война, и любовь, и туризм... Университет, как и все они, несет мечту, и этой мечте не суждено сбыться ни в каких конкретных стенах никакого университета, будь он хоть самым отремонтированным, продвинутым, котирующимся, эффективным или залайканным своими бывшими студентами. Различными видами этого идеала диктовались все без исключения университетские проекты — от Болоньи XI века до Болоньи XXI века. Полностью вписать университет в логику материальных, пусть и самых «неизбежных» социальных явлений никогда не будет решением, удовлетворяющим его самого, поскольку поставит под вопрос возложенную им на себя (или социумом на него) задачу по трансцендированию.

Но он и имманентен совокупному процессу. Экономические, политические и — менее заметные — эпистемические и даже моральные сдвиги не могут не отражаться на его собственной эволюции. Университет — дитя общества, и ничто общественное ему, увы, не чуждо. Общество мечтает (или чаще: помнит, что мечтало) университетом, но на мечте всегда ощутима печать мечтающего. В текущих дебатах об университете, вызванных проектом реформы высшего образования, высказывается много дельного — как критики, так и предложений. Но критика часто остается заверением в наилучших намерениях ее высказы-

вающего, а предложения имеют, как правило, тот недостаток, что оставляют нерешенным вопрос о политической и экономической воле, способной претворить их в жизнь.

* * *

Происходящее в российском университете можно понять, только разведя, а затем сведя две относительно независимые серии событий: 1) крах советской системы, в том числе и образования; 2) неолиберальный поворот, эпифеноменом которого явилась Болонская реформа.

Конец советской эпохи потребовал смены по возможности всех ее институтов и атрибутов. Требование это было прежде всего идеологическим, а перемена могла носить и ритуально-заключительный характер, как, например, запоздалое переименование милиции в полицию. Переименование в 1990-е годы тысяч училищ и техникумов в университеты и академии имело, вероятно, большие последствия, не вполне чуждые рассматриваемой теме. Эти переименования поощрялись «вакансией» контроля и регионализацией государственной политической воли. Катастрофическая инфляция произошла помимо и нечаянно. Переименования эти стали возможны из-за временно-постоянного коллапса государства, который фактически ввел в действие принцип *laissez-faire* (глас народный, вероятно, точнее расценивать это состояние как *беспредел*). Начальники стали номотетами: это называется *так*, «потому что я первый до этого додумался». Все это тем более касается и понадобившегося тогда переименования дисциплин, и всего радикального переосмысления университета. Однако эта номотетическая деятельность косвенно свидетельствовала о высоком престиже науки: кажется, что, пока старые учебные заведения называются (а новые — называют) университетом, о престиже вывески можно не беспокоиться. Но уже титулы *инновационный* или *научно-исследовательский* университет говорят о том, что *просто* университет не вселяет былого уважения.

Позднесоветская система образования была плодом холодной войны и конкуренции систем. До некоторой степени выиграли от этого положения прежде всего математика и естественные науки. Все остальные несли тяжелые потери, сопряженные с репрессиями, изоляцией, цензурой, идеологическим ярмом, партийной кадровой политикой и т. д., которым противостоял только исследовательский или педагогический этос служения отречения-подвижничества. Поэтому, если не считать нескольких дисциплин, учебных заведений и считанных имен в каждом из них, все остальное не заслуживает и десятой доли той ностальгии, которая высказывается по отношению к советской образовательной системе.


Неолиберальная волна на Западе, подстегнутая крушением коммунизма, увенчалась в области высшего образования так называемой Болонской реформой, задуманной в те же 1990-е и начавшей вводиться на рубеже веков. Она стала примером типичного «брюссельского» принятия решений: вертикально сверху вниз, без обсуждения с заинтересованными или компетентными в образовании лицами, на министерском уровне, сумбурно, близоруко и безответственно — в том, в частности, смысле, что и спросить не с кого. На сегодня она может в основном считаться завершенной, и не только в Европе, но и в известной мере в России. Я по-прежнему¹ расцениваю ее как противоречивую и пагубную и считаю иллюзией, будто европейский университет нисколько от нее не пострадал. Вред, нанесенный Болонской реформой, очень глубок и именно поэтому не слишком заметен на поверхности. Квантификация результатов редуцировала весь многосложный процесс передачи, освоения, осмысления и критики знания к суммированию баллов — со всеми вытекающими фатальными последствиями для сознания как учащихся, так и обучающихся. Постулирование академической мобильности как самоцели без всякого размышления о том, чем именно мобильность хороша для учебы, дезориентировало все целеполагание учебного процесса². Наконец, переформатирование всего учебного и научного процесса под эгидой «отличия» — или «превосходства», или «совершенства» (*excellence*) — опасно сблизило миры университета и фирмы, ознаменовав победу менеджерского духа над духом исследования и учебы.

Можно спорить о том, где — в России или Европе — вред от Болоньи оказался бóльшим. Западный университет подорван — не столько самой реформой, сколько тенденцией, которую она воплощает, — но инерция многовековой традиции, к счастью, велика. Такой прочной традиции в России нет. Большинство российских институциональных вузовских историй складываются из эксплуатации на глазах скудеющего советского (и отголосков досоветского) наследия, нынешнего научно-технологического упадка и копирования того, что легко копировать (а Болонскую реформу — легко). Иного не дано, за исклю-

1. См. мои статьи: От Болоньи до Болоньи, или Тупиковый процесс (рец. на 4 книги о реформе высшего образования в Европе)// Пушкин. 2009. № 2; Pirojki à la bolognaise. Le miroir russe de l'université européenne // Multitudes. 2009. № 39. P. 100–108.
2. Мне представляется абберрацией, что ректоры немецких университетов на своей недавней конференции обсуждали как серьезную проблему тот факт, что надежды на бóльшую мобильность не оправдались.

чением редких случаев коллективного энтузиазма или уникального стечения экономико-политико-личных факторов. Но, как ни странно — и Министерство образования и науки может этим гордиться, — многие проблемы (при всех колоссальных различиях в степени) у России и Запада общие. В этом смысле тенденция угадана. И там и там налицо раскол тела университета на чиновников и преподавателей при все более ущемленном положении последних, тот же триумф менеджерской логики, выдаваемый за последний крик прогресса, тот же диктат числа (рейтингов, баллов-кредитов и погонных печатных листов) над смыслом, контроля за качеством — над самим качеством, имиджа — над реальностью.

Образование не только входит в совокупный ойкос и несет на себе его черты, но и испытывает прямое воздействие внешних факторов. На Западе продление образовательного цикла обусловлено безработицей, у нас — армией и вдохновляемыми ею линиями бегства. Конечно, во многих странах об университете (а еще больше о школе) говорят с отчаянием. Неудивительно, что в России эта сфера (наряду с правосудием и здравоохранением) располагает к апокалиптическому тону. Дискуссия об образовании в России отягчена и тем, что доверие к власти достигло таких головокружительных бездн, что любая законодательная инициатива воспринимается как очередная стратегема в войне с собственным народом, ожидающим сверху только все более заковыристых и прихотливых ущемлений.

В этом отношении Россия добавляет в реальность образования свою веселую ложку дегтя. Смешно уличать ученых и учащихся в плагиате, когда выясняется, что суверен и гарант (незадолго до того, как стать сувереном и гарантом) также делил с научным людом тяготы поиска и радость находок — в диссертациях коллег. Смешно уличать ассистента N во взяточничестве или продаже курсовых работ, если на коррупции зиждется вся система — не только высшего образования, но и система вообще, в основе которой, утверждают серьезные обществоведы, лежала, лежит и будет (= должна?) лежать *откатная экономика*. Если у постболонского западного студента на уме и языке только баллы-кредиты, то у постсоветского — «тыщи». Не менее смешно, когда случаи плагиата или коррупции «там» (то есть на Западе) попадают в российские  стные ленты и приносят долгожданное облегчение: там «*то же так же*». Известно, но предпочитается не принимать во внимание, что «там» такие факты вызывают скандал и, как правило, стоят действующим лицам политических и иных карьер, тогда как здесь они воспринимаются как неизбежное, да и по сути (и по сравнению с другими пороками и язвами) невинное зло. Да и почему обязательно зло?

Разве факт (при)обретения многими представителями «элиты» научных степеней не свидетельствует, пусть и в несколько экстравагантной форме, о высокой репутации науки?

Пыл, с которым обсуждается реформа, вызывает, что интуиции ожиданий от образования не только несопоставимы с бюджетными, но и что на образование возлагаются функции компенсаторные: что не ладится в других областях, уравновесим этой, самой дорогой сердцу. Тут оскорбленное и ежедневно оскорбляемое гражданское сознание встречается с утопическим расчетом «начать с образования», некогда столь популярным в альтернативной советской педагогике: создадим «чистые» зоны, чтобы изменять завтрашний мир путем формирования новых людей сегодня. Однако сфера образования лишилась ныне последних иллюзий относительной защищенности от враждебного окружения и сама преподает своим подопечным уроки несправедливости и продажности.

Догоняющее развитие приучило, кажется, гражданское общество высматривать образцы для подражания в прошлом и далеком. История высшего образования, как и образования вообще, чрезвычайно интересная и, несомненно, поучительная материя для изучения, но только из нее, как и из исторического знания вообще, прямо ничего не вытекает, и исторические примеры здесь, как и в других случаях, ничего не доказывают. Университетские модели бывали различны и постоянно претерпевали изменения, частью агентов воспринимавшиеся негативно, — на этом, собственно, урок кончается. Из него не следует ни какой модели придерживаться, ни где взять ту политическую, экономическую или иную волю, которая необходима для строительства или перестройки образовательной системы. К тому же такое строительство предполагает десятилетия терпеливой и последовательной политики, что считается непозволительной роскошью не только в перманентно-катастрофическом «здесь» (где никто не отваживается в прогнозах на год-два вперед), но и на суетливом «там» (где нужно поспеть с реформой до следующих выборов).

Нет никакого «изначального истока» университета, к которому любой современный университет был бы обязан вернуться. И нет даже никакого первоуниверситета. Сорбонна? Болонья? Почему не марокканский Фес? Или Константинополь? И нет никакой единой «идеи университета», которой якобы всегда вдохновлялся всякий университет в прошлом и на которую был бы обязан равняться любой современный университет. Что Гумбольдт, Дьюи, Ньюмен, Кант или Конт создали такую-то национальную образовательную институцию — нам-то что? Нам здесь, на нашем Родосе, это знание прыгнуть не поможет.

В этом я позволю себе не согласиться с позицией Аллана Блума, разделяемой, кажется, и Биллом Ридингсом, автором остро критической книги «Университет в руинах»: «Университет перестал быть гумбольдтовским, а это значит — перестал быть собственно *Университетом*»³. Назначить сущность университета гумбольдтовской представляется мне благонамеренным, но произволом. Если я возмущен какими-то явлениями университетской жизни и считаю их противоречащими сути (понятию, духу...) университета, то это говорит только о том, что я воспитан на иных представлениях об университете. Но в той мере, в какой я способен заключить свое суждение в скобки, я не могу отказывать в «сущности» институту, который в силу тех или иных причин называется университетом. Среди людей, озабоченных его миссией, достаточно и тех, кто считает необходимым вернуться к той или иной модели, и тех, кто, напротив, считает, что «время диктует» некие радикальные перемены. Причем водораздел между ними и у нас, и на Западе вовсе не совпадает с делением на правых и левых. Сплошь и рядом правые выступают не консерваторами, а носителями «прогресса», тогда как левые призывают вернуться к прежнему состоянию и/или удержать его позитивные стороны. Должен ли и может ли университет оставаться прежним — вопрос так стоять не может. Университет — это тот общественный институт, которым общество грезит об ином. Даже *прежним* он может быть только в *мечте* — об утраченном идеале знания и его обретении. Наблюдается, скорее, несколько границ размежевания: государственники против либералов, идеалисты против прагматиков, ностальгики против футуристов, эгалитаристы против меритократов⁴.

* * *

В дебатах об образовании пока слишком много сиюминутной реакции (на Болонскую реформу, на законопроект о реформе высшего образования и т. д.) и мало осознания метаморфоз, произошедших со знанием в его отношении к человеку, производству, потреблению, обществу в целом. Эти перемены многообразны, и отдать себе в них отчет — масштабная задача, даже эскиз которой вряд ли по плечу отдельному человеку. И само собой разумеется, что эти метаморфозы отнюдь не однозначно негативны и не могут быть инкриминированы (или зачтены в актив) кому-то персонально.

3. Ридингс Б. Университет в руинах. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 93.

4. Во Франции эту последнюю ось обозначают как *jacobins* против *pédagogistes*.

Классические формы знания, отлившиеся в нововременной науке, исходили из постулатов бесконечного божественного или природного (*Deux sive Natura*) контрагента, освоение-присвоение-покорение которого было для человека средством обосновать («оправдать») свой богоподобный характер, а для суверена — доказать боговдохновенность своей власти. Наука поворачивала природу к человеку, конечно, *удобными* для него сторонами, теми, которые позволяли все теплее согревать и все ярче освещать жилище, все быстрее, дальше и комфортабельнее передвигаться в пространстве и т. д., но для науки это было лишь *применением* фундаментального знания, фактически побочным эффектом обнаружения природных закономерностей или «раскрытия тайн». Покорение природы осуществлялось методами, сходными с покорением территорий геополитических соперников или колоний.

Очевидна зависимость этой модели знания от современных ему форм производства. Та же зависимость налицо и сегодня, только теперь изменилась тенденция самого производства как отношения к миру. Она выражается в нарастающем преобладании производства услуг (третичный сектор экономики⁵). В добавленной стоимости так называемых товаров с высокой добавленной стоимостью (*high-value-added goods, articles à haute valeur ajoutée*) снижается доля высокой технологичности и нарастает доля раскрутки, дизайна, доставки и так далее вплоть до улыбки.

Специфика сферы услуг заключается в том, что, кроме юридических, медицинских и информационных, никакие услуги не являются по сути знаниеемкими: ни финансовые, ни бытовые, ни коммунальные, ни транспортные, ни туристические... Они требуют трудноопределимых (и трудновоспитуемых, то есть трудно построить педагогическую стратегию, которая давала бы заведомо более высокие результаты, чем спонтанный экзистенциальный процесс) компетенций: коммуникативных способностей и житейской смекалки (способности суждения). Конечно, пока есть люди, полагающие, будто есть такие специальные факультеты, которые эти способности могут воспитать, работать с такой клиентурой «нам, стало быть, с руки». Но нельзя положив руку на сердце утверждать, что университет дает им, как когда-то, знание. Он, скорее, обманывает их, потакает невежеству, играет на их страхах и вере в легкие деньги⁶. Но этот

5. Некоторые выделяют еще и четвертичный, информационный, другие считают это различие излишним.
6. И в этом смысле традиционный университет становится в один ряд с продавцами воздуха, под самыми невероятными вывесками спекулирующими на былом символическом капитале науки.

«обман» оборачивается против университета, когда эти люди и становятся главными заказчиками университетского знания.

Сегодня университетской науке как никогда прежде трудно найти способы (и — хуже того — аргументы) для финансирования фундаментальных исследований. Механизм этого финансирования в горизонте геополитики был относительно отлажен, но как оправдать его в условиях глобализованной экономики, пока неясно. Машина традиционной войны требовала гораздо больших когнитивных вливаний, чем даже машина борьбы с терроризмом. В глобализованном мире состязаться не то чтобы не с кем, а прежде всего некому. Государство приватизировалось, и апеллировать стало не к кому. Рухнули моральный авторитет и общественный престиж знания, с одной стороны, и государство как главный заказчик легитимации — с другой. Государство все больше принимает карикатурно-бутафорский характер. С уходом индустрии (причины и механизм этого процесса на Западе и в России различны, но результат сходен) из-под национальных знамен нужна в высокой квалификации тоже отбыла: нормально, что научно-техническое образование следует за местами применения.

Сегодня партнер (собеседник, заказчик) университета — это уже не национальное государство, амбициозное и агрессивное. Сегодня это индивид, который уже слабо связан с отечеством, но еще слабо — с космополитическим этосом *à la* Кант. Это потребитель, эгоист. «Общее дело» для него — разводка наподобие прежних идеологий. Но и «любить *свое* дело» он тоже не может: какое, собственно, свое? Его профессиональная и человеческая траектории стали непредсказуемыми. Университет сегодня испытывает небывалое в истории давление потребителя, сам становится *user-friendly*. Потребитель хочет не только потреблять продукт, но и подсказывать изготовителю, как продукт должен выглядеть, выбирать цвет обоев, комплектацию и обивку машины, структуру факультетов и учебный план.

Без малого век назад Гуссерль анализировал факт внедрения наук галилеевского образца в жизненный мир. Сегодня этот факт для нас банален, но сама наука повернута к нам в гораздо большей степени своей гаджетовой стороной, *user-friendliness* или просто *usability*. Целый ряд новых университетских дисциплин возник по прямому заказу потребителя. Конечно, и исторический университет был гетерогенен: факультеты теологии, права и медицины апеллировали к абсолютно разнородной легитимации — соответственно, к Богу, Закону и Природе. Но к чему, кроме «веления времени»⁷, апеллирует «связь с об-

7. Как сказано на сайте одного уважаемого учебного заведения, «кафедра связей с общественностью была создана в июле [такого-то] года. Ее рождение

щественностью» (и другие «маркетинги»), в сфере которой можно стать бакалавром, магистром, кандидатом и доктором наук, — неясно. Очевидно только, что идущий на этот факультет (и/или его родители) озабочен только тем, чтобы не дай бог не (дать чаду) поменять строй мысли и самый предмет своего жизненного внимания. Но виноват ли он (или его родители), если университет — или то, что пока так называется, — своим авторитетом освящает такую возможность? В самом по себе добавлении новых факультетов нет никакой проблемы (и история университета только из таких добавлений и состоит), но в нынешнем контексте ориентации на рынок добавление рискует обернуться подменой (там, где еще есть *что* подменять): на санскрит спроса нет, а на маркетинг есть — становится единственным аргументом. Удивительно ли, что уравнение под одной крышей сложнейших областей знания с более чем сомнительными и туманными дисциплинами приводит к тому, что абитуриенты голосят ногами в пользу самых скороспелых специальностей, для овладения которыми (или их предками) некогда хватало нескольких месяцев коммерческого училища.

Закат государства совпал с перераспределением образовательных задач. Ясно, что сегодня не университет как исторический попутчик национального государства, а медиа являются главным воспитателем и заодно «великим утешителем». В мире, построенном современными медиа, роль знания весьма скромна, и в рецепт успешности оно не входит. Герой нашего времени, может быть, и поступал, но необязательно заканчивал. Зато он любит рисковать и верит в свою звезду. Телевидение в программах, построенных по типу викторин или квизов, казалось бы, апеллирует к когнитивной струнке зрителей. Но на деле спор об истине здесь сведен к угадыванию, а эвристика — к азарту. С Интернетом, конечно, все не столь однозначно. Колоссальное подспорье для одних (в том числе и для ученых в самых разных областях знания), он стал для других *эквивалентом* знания со всеми вытекающими искажающими эффектами.

На глазах меняется и сам *homo academicus*. Утрата престижа не могла не отразиться на его самооценке. На наших глазах из научной экзистенциальной установки улетучиваются ста-

предопределила сама жизнь». Далее набрасывается когнитивный образ героя нашего времени: PR-специалист «должен не только хорошо знать теорию [?], но и писать релизы, создавать сайты, рисовать макеты, проектировать сценические решения, работать со всеми видами оргтехники, разбираться в машинах, косметике, моде, кулинарии, рыболовных снастях, часах, ароматах и многом другом. А вдобавок [*sic!*] еще обладать энциклопедическими знаниями».

рорежимные остатки призвания, служения, миссии. Его особые черты вскоре сотрутся, как... ну да, как лицо, начертанное на прибрежном песке. Уже сегодня *homo academicus* одной ногой в университете, а другой в бизнесе, медиа или политике. Работа в университете, как и вообще работа на одном месте, перестала восприниматься как жизненный выбор и стала периодом в жизни или опцией, одновременной с другими. Современный *homo academicus* обитает в университете, но уже не составляет его. Можно, наверное, радоваться концу университетских бонз, но костяк университета образуют уже не взаимозаменяемые и текучие научно-педагогические кадры, а постоянные менеджеры разного уровня, которым, по сути, безразлично, чем руководить — университетом или турфирмой. «В медицине уметь ничего не надо, главное — принимать правильные управленческие решения» — это процитированное недавно заведующей отделением одной из больниц красноречивое мнение управленцев имеет, увы, универсальное хождение.

Неудивительно, что это дезориентирует и преподавателей-ученых, так как критерии и императивы науки и управления отнюдь не обязательно совпадают. Чиновничья машина не только требует постоянной, изощренной и часто нелепой отчетности, оценивания и самооценивания⁸, но и самосовершенствуется: меняет критерии, варьирует формуляры и т. д. Уследить за этим постоянным формотворчеством не в состоянии ни один преподаватель-исследователь, этот постоянный объект административного недоверия. Поэтому преобладающим способом заполнения всевозможных отчетов и проектов становится использование уже кем-то поданных и успешно принятых документов (чем они однотипнее, тем легче чиновнику). Стоит ли удивляться, что потом некоторые «исследователи» путают ситуации, где копи-пейст не только терпится, но и приветствуется, с теми, где тот же метод считается плагиатом?⁹

8. Эту тенденцию американская исследовательница остроумно и иронично назвала *test drive*: см. *Ronell A. The Test Drive. A philosophical and cultural analysis of the motivation for and ubiquity of testing.* Champaign: University of Illinois Press, 2005.
9. Сходное мнение, но по поводу диссертаций высказал недавно в Facebook'e А. Ф. Филиппов (статус от 7.02.2013): «Борясь за качество диссертаций, ВАК наплодил множество тяжелых, обременительных правил и совершенно затерроризировал советы. Боясь, как бы чего не вышло, советы пошли путем, казалось бы, самым надежным. Диссертантов неявно стали понуждать к тому, чтобы при оформлении важных документов они брали за образец уже защищенные и прошедшие все экспертизы работы», что ставит диссертантов в потенциально уязвимое положение именно с точки зрения плагиата.

Университет достиг апогея в том эоне, когда познание (Бога, свободы, самого себя и т. д.) считалось основным семантизирующим механизмом жизни и истории. Какая-то память об этом эоне еще жива, но она становится все более смутной, обрастает легендами, преобразуется в миф. То была эпоха дефицита знаний о мире и культуре, и на восполнение его шли лучшие силы и годы. Нынешнее молодое и грядущие поколения не поймут этих забот. Потребность человечества в знании может считаться удовлетворенной. Во многом знании на поверку оказалось много печали. Главной проблемой стал переизбыток информации, а основной заботой — защита от нее. Болонская студенческая калькуляция, нацеленная на то, чтобы не перетрудиться и не перепосетить лекций и семинаров, прекрасно воплощает эту тенденцию, так сказать, на низовом уровне.

* * *

В современном отношении общества к знанию можно выделить по меньшей мере три процесса: 1) конструирование невежества; 2) производство сомнения; 3) борьба за доверие. Каждый из них заслуживает, конечно, отдельного обсуждения¹⁰; ограничимся краткой характеристикой.

1. Ликвидация безграмотности достигла своих целей. Невзирая на продление сроков школьного обучения, высока доля не обретших к старшим классам даже базисных навыков. Причем это касается и ряда европейских стран. Рынок труда перестал стимулировать учение и обучение. Ранняя (или быстрая) профессионализация, инфляция дипломов¹¹, высокая безработица среди дипломированных специалистов, распространение феномена «чрезмерной квалификации», банализация *edutainment*, обострение борьбы за «права ребенка» против «принуждения к приобретению знаний», предпочтение рынком труда гибкости в ущерб знанию/опыту — все эти феномены так или иначе иллюстрируют то, что социологи и психологи называют *социальным конструированием невежества*.
2. Определенные виды знания чреваты опасностью для определенных секторов народного хозяйства. Так, знание

10. «Логос» собирается в ближайшее время обратиться к этим темам. — *Прим. ред.*

11. Статистические данные и социологические исследования показывают, что почти каждый выпускник школы может поступить в какой-нибудь вуз; см.: Высшее образование в России: правила и реальность / Под ред. С. В. Шишкина. М.: Независимый ин-т соц. политики, 2004. С. 380.

рисков атомной энергетики угрожает ее развитию (и инвестициям в нее), знание о роли человеческого фактора в изменениях климата и окружающей среды грозит индустрии дополнительными расходами на экологию, знание потребителем о вреде табака и алкоголя может нанести прямой экономический ущерб этим отраслям и т. д. В условиях всеобщей грамотности и сетевого распространения информации трудно контролировать (не говоря уже о том, чтобы пресечь) порождение и усвоение такого рода сведений. Зато можно напомнить потребителю, что у него есть право на критическое суждение, на отказ от принятия любых, пусть даже самых убедительных аргументов. Не в глотании информации, а в сопротивлении ей он, потребитель, проявляет себя как достойный потомок античных и нововременных скептиков. Такая стратегия, спекулирующая на картезианском сомнении, льстит потребителю, внушая ему критическую инстанцию по отношению к науке. Если невозможно запретить знание, то можно по крайней мере заставить сомневаться в нем.

3. Параллельная утрата позиций государства и науки заставляет (западных) политиков говорить о важности «вернуть доверие» (граждан, избирателей, потребителей и т. д.). Недавние скандалы в фармацевтической и пищевой промышленности поставили под сомнение надежность корпоративного и государственного контроля. Все попытки противостоять тенденции путем умножения экспертизы и экспертов приводят к результату, скорее, противоположному: падает доверие к институту экспертов (который сам должен подлежать экспертизе и так до бесконечности). Легитимация экспертного знания подорвана медийно-сетевым производством мнения, той самой *doxa*, которую высокомерно отрицали философия и наука и которая теперь сама становится судьей знания, все чаще девазирующего себя.

И — если честно и без протокола — разве удельный вес благоглупостей, исходящих из-под пера и из уст университетских ученых (я здесь отвлекаюсь от так называемых точных наук), намного ниже той доли благоглупостей, которую неизбежно (зато без сносок, ссылок на себя и своих, претензий, амбиций и прочих демонстраций воли к власти) порождает «сетевая республика»?

Так или иначе, но все бóльшая доля знания приобретается вне университета. Давно было известно о роли неформального общения в науке. Не только историки, но и физики огромную долю знаний и операционных сведений по их классификации

и обработке черпали в курилках и кулуарах конференций. Сегодня Сеть стала такой мегакурилкой. Последствия этих сдвигов для когнитивного поведения колоссальны и уже многократно описывались (хронофагия, рассеянное внимание...). Об одной черте говорят мало: сама эрудиция стала подозрительной, а скоро станет и постыдной. Википедия (и другие подобные проекты) стала подлинным протезом современной «живой памяти», и демонстрировать свой протез — жест не невинный.

Изменилась связь знания с занятостью. Не так давно — будь то в России или Европе — аттестат зрелости гарантировал трудоустройство. Сегодня и высшее образование его не только не гарантирует, но даже не пытается обещать. Болонская реформа предложила воистину абсурдное решение этой проблемы: сокращение срока обучения и раннюю профессионализацию (поскольку уже бакалавр получает диплом, дающий формальное основание для выхода на рынок труда). Однако очевидно, что бакалавр после 3–4 лет учебы не имеет большего шанса на трудоустройство, чем прежний выпускник после пяти. К тому же необходимость в постоянном переучивании должна была бы повысить потребность в фундаментальных знаниях, которые не приобретешь в быстром натаскивании. Но рынок (по крайней мере в сфере обслуживания) становится вовсе безразличен к этой компоненте: здесь налицо тенденция к созданию искусственной текучести. Молодые несведущи в своих правах, им не надо платить за стаж, они меньше болеют и еще не рожают, их легче выгнать, поскольку они и сами рвутся попробовать себя на новых поприщах. Их невежество и неопытность придают их труду трогательный оттенок симпатичного неумения, который может импонировать клиенту, особенно молодому (и предположительно столь же «текучему» на своем рабочем месте). Все большее число молодых людей начинает работать, не дождавшись диплома, который, следовательно, перестал быть необходимым условием для принятия на работу в глазах многих работодателей. Иначе говоря, диплом не гарантирует трудоустройства, а его отсутствие ему не мешает.

Ощутимо ли влияние этого нового отношения к знанию внутри университета? Несомненно. Контрактная система (на Западе), конечно, во многом благоприятствует динамизации исследования и преподавания и в целом способна поднять уровень того и другого. Но клипизация карьер меняет отношение не только к «своей» кафедре, но и к профессии вообще. Радикально изменилась хронополитика университета. Большинство современных университетов (здесь и там) переживают в последние годы такую бурную перестройку, что редко какому студенту удастся начать и закончить свое высшее образование внутри не-

изменной институциональной рамки. То же ускорение и в науке. Никакая кафедра не потерпит сегодня, чтобы ученый корпел, как бывало, 25 лет над одной книгой или над одной задачей (даешь *multi-tasking!*), как не потерпит, чтобы исследователь пришел к опровержению изначальной гипотезы или иному негативному результату. Трудно не увидеть и в этом сдвиге воздействие медиа, блогосферы, диктующей — к добру или худу — ритм, темп, стиль, способы аргументации и легитимации высказывания.

Университет никогда не был единственным местом производства знания. Остался ли он *привилегированным* местом? Падение престижа знания вступает лишь в кажущееся противоречие с растущим спросом на высшее образование. Он определен родительской инерцией: родители выросли еще в предыдущем эоне и по-прежнему воспринимают знание как ключ к успеху. Но они также считают своим долгом догонять современность: это они сначала мучают свое чадо «мелкой моторикой», которая должна обеспечить развитие маленького гения, чтобы полтора десятилетия спустя послать его учиться какой-нибудь модной псевдоспециальности. Спрос на высшее образование подогревается отнюдь не исследовательской романтикой, любознательностью или желанием «быть полезным обществу», а страхами за детей и желанием обезопасить себя от неопределенностей современного мира путем вложения в человеческий (по сути, в детский) капитал.

Что ж, университет готов оказать такую услугу. Он со своей стороны делает все возможное, чтобы казаться именно таким, каким его хотят видеть потребители: успешным, престижным, рейтинговым. Он готов создать отдел по разработке своего имиджа. Он готов разработать свой собственный рейтинг. Он готов забыть себя вчерашнего. Но поскольку он еще не придумал себя нового, то он просто отрицает себя старого и остается пока фирмой по оказанию услуг, выдающей себя за *дорогую* фирму по оказанию услуг. В этом смысле университет не просто претерпевает изменения (которые происходили всегда), а в определенном и очень существенном смысле кончается. Он является и останется университетом столько, сколько будет так называться, но и самое его имя рискует утратить всякую привлекательность и всякий смысл.